

Леонид Андреев

Христиане



Леонид Николаевич Андреев

Христиане

Текст предоставлен издательством «Эксмо»
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=172411
Красный смех: Эксмо-Пресс, Эксмо-Маркет; М.; 2000
ISBN 5-04-004476-3

Аннотация

«За окнами падал мокрый ноябрьский снег, а в здании суда было тепло, оживленно и весело для тех, кто привык ежедневно, по службе, посещать этот большой дом, встречать знакомые лица, раскрывать все ту же чернильницу и макать в нее все то же перо. Перед глазами, как в театре, разыгрывались драмы – они так и назывались «судебные драмы», – и приятно видеть было и публику, и слушать живой шум в коридорах, и играть самому. Весело было в буфете; там уже зажгли электричество, и много вкусных закусок стояло на стойке...»

Леонид Андреев

Христиане

За окнами падал мокрый ноябрьский снег, а в здании суда было тепло, оживленно и весело для тех, кто привык ежедневно, по службе, посещать этот большой дом, встречать знакомые лица, раскрывать все ту же чернильницу и макать в нее все то же перо. Перед глазами, как в театре, разыгрывались драмы – они так и назывались «судебные драмы», – и приятно видеть было и публику, и слушать живой шум в коридорах, и играть самому. Весело было в буфете; там уже зажгли электричество, и много вкусных закусок стояло на стойке. Пили, разговаривали, ели. Если встречались пасмурные лица, то и это было хорошо: так нужно в жизни и особенно там, где изо дня в день разыгрываются «судебные драмы». Вон в той комнате застрелился как-то подсудимый; вот солдат с ружьем; где-то бренчат кандалы. Весело, тепло, уютно.

Во втором уголовном отделении много публики – слушается большое дело. Все уже на своих местах, присяжные заседатели, защитники, судьи; репортер, пока один, приготовил бумагу, узенькие листки, и всем любитесь. Председатель, обрюзгший, толстый человек с седыми усами, быстро, привычным голосом перекликает свидетелей:

– Ефимов! Как ваше имя, отчество?

– Ефим Петрович Ефимов.

- Согласны принять присягу?
- Согласен.
- Отойдите к стороне! Карасев!
- Андрей Егорыч... Согласен.
- Отойдите к... Блументаль!..

Довольно большая кучка свидетелей, человек в двадцать, быстро перемещается слева направо. На вопрос председателя одни отвечают громко и скоро, с готовностью, и сами догадливо отходят к стороне; других вопрос застаёт врасплох, они недоумело молчат и оглядываются, не зная, к ним относится названная фамилия или тут есть другой человек с такой же фамилией. Свидетели положительные ожидали вопроса полностью и отвечали полно, не торопясь, обдуманно; к стороне они отходили лишь после приказания председателя и с другими не смешивались.

Подсудимый, молодой человек в высоком воротничке, обвинявшийся в растрате и мошенничестве, торопливо крутил усики и глядел вниз, что-то соображая; при некоторых фамилиях он оборачивался, брезгливо оглядывал вызванного и снова с удвоенной торопливостью крутил усы и соображал. Защитник, тоже еще молодой человек, зевал в руку и гибко потягивался, с удовольствием глядя в окно, за которым вяло опускались большие мокрые хлопья. Он хорошо выспался сегодня и только что позавтракал в буфете горячей ветчиной с горошком.

Оставалось только человек шесть не вызванных, когда

председатель с разбега наткнулся на неожиданность:

– Согласны принять присягу? Отойдите...

– Нет.

Как человек, в темноте набежавший на дерево и сильно ударившийся лбом, председатель на миг потерял нить своих вопросов и остановился. В кучке свидетелей он попытался найти ответившую так определенно и резко – голос был женский, – но все женщины казались одинаковы и одинаково почтительно и готовно глядели на него. Посмотрел список:

– Пелагея Васильевна Караулова! Вы согласны принять присягу? – повторил он вопрос и выжидательно уставился на женщин.

– Нет.

Теперь он видит ее. Женщина средних лет, довольно красивая, черноволосая, стоит сзади других. Несмотря на шляпу и модное платье с грушеобразными рукавами и большим, нелепым напуском на груди, она не кажется ни богатой, ни образованной. В ушах у нее цыганские серьги большими дутыми кольцами; в руках, сложенных на животе, она держит небольшую сумочку. Отвечая, она двигает только ртом; все лицо, и кольца в ушах, и руки с сумочкой остаются неподвижны.

– Да вы православная?

– Православная.

– Отчего же вы не хотите присягать?

Свидетельница смотрит ему в глаза и молчит. Стоявшие

впереди ее расступились, и теперь вся она на виду со своей сумочкой и тонкими желтоватыми руками.

– Быть может, вы принадлежите к какой-нибудь секте, не признающей присяги? Да вы не бойтесь, говорите, – вам ничего за это не будет. Суд примет во внимание ваши объяснения.

– Нет.

– Не сектантка?

– Нет.

– Так вот что, свидетельница: вы, может, опасаетесь, что в показаниях ваших может встретиться что-либо неприятное... неудобное для вас лично, – понимаете? Так на такие вопросы, по закону, вы имеете право не отвечать – понимаете? Теперь согласны?

– Нет.

Голос молодой, моложе лица, и звучит определенно и ясно; вероятно, он хорош в пении. Пожав плечами, председатель взглядом призывает ближе к себе члена суда с левой стороны и шепчется с ним. Тот отвечает также шепотом:

– Тут есть что-то ненормальное. Не беременна ли она?

– Ну, уж скажете... При чем тут беременность? Да и незаметно совсем... Свидетельница Караулова! Суд желает знать, на каком основании вы отказываетесь принять присягу. Ведь не можем же мы так, ни с того ни с сего, освободить вас от присяги. Отвечайте! Вы слышите или нет?

Сохраняя неподвижность, свидетельница что-то коротко

отвечает, но так тихо, что ничего нельзя разобрать.

– Суду ничего не слышно. Пожалуйста, громче!..

Свидетельница откашливается и очень громко говорит:

– Я проститутка...

Защитник, тихонько постукивавший ногой в такт ка-ким-то своим мыслям, останавливается и пристально глядит на свидетельницу. «Нужно бы зажечь электричество»... – думает он, и, точно догадавшись о его желании, судебный пристав нажимает одну кнопку, другую. Публика, присяжные заседатели и свидетели поднимают головы и смотрят на вспыхнувшие лампочки; только судьи, привыкшие к эффекту внезапного освещения, остаются равнодушны. Теперь совсем приятно: светло, и снег за окнами потемнел. Уютно. Один из присяжных заседателей, старик, оглядывает Караулову и говорит соседу:

– С сумочкой...

Тот молча кивает головой.

– Ну так что же, что проститутка? – говорит председа-тель и слово «проститутка» произносит так же привычно, как произносит он другие не совсем обыкновенные слова: «убийца», «грабитель», «жертва». – Ведь вы же христианка?

– Нет, я не христианка. Когда бы была христианка, таким бы делом не занималась.

Положение получается довольно нелепое. Нахмурившись, председатель совещается с членом суда налево и хочет гово-рить; но вспоминает про существование члена суда направо,

который все время улыбается, и спрашивает его согласия. Та же улыбка и кивок головы.

– Свидетельница Караулова! Суд постановил разъяснить вам вашу ошибку. На том основании, что вы занимаетесь проституцией, вы не считаете себя христианкой и отказываетесь от принятия присяги, к которой обязует нас закон. Но это ошибка – вы понимаете? Каковы бы ни были ваши занятия, это дело вашей совести, и мы в это дело мешаться не можем; а на принадлежность вашу к известному религиозному культу они влиять не могут. Вы понимаете? Можно даже быть разбойником или грабителем и в то же время считаться христианином, или евреем, или магометанином. Вот все мы здесь, товарищ прокурора, господа присяжные заседатели, занимаемся разным делом: кто служит, кто торгует, и это не мешает нам быть христианами.

Член суда с левой стороны шепчет:

– Теперь вы хватили... Разбойник – а потом товарищ прокурора! И потом, торгует – кто торгует? Точно тут лавочка, а не суд. Нельзя, неловко!..

– Так вот, – говорит протяжно председатель, отворачиваясь от члена, – свидетельница Караулова, занятия тут ни при чем. Вы исполняете известные религиозные обряды: ходите в церковь... Вы ходите в церковь?

– Нет.

– Нет? Почему же?

– Как же я такая пойду в церковь?

– Но у исповеди и у святого причастия бываете?

– Нет.

Свидетельница отвечает не громко, но внятно. Руки ее с сумочкой застыли на животе, и в ушах еле заметно колышутся золотые кольца. От света ли электричества или от волнения она слегка порозовела и кажется моложе. При каждом новом «нет» в публике с улыбкой переглядываются; один в задних рядах, по виду ремесленник, худой, с общипанной бородкой и кадыком на вытянутой тонкой шее, радостно шепчет для всеобщего сведения:

– Вот так загвоздила!

– Ну а богу-то вы молитесь, конечно?

– Нет. Прежде молилась, а теперь бросила.

Член суда настойчиво шепчет:

– Да вы свидетельниц спросите! Они ведь тоже из таких...

Спросите, согласны они?

Председатель неохотно берет список и говорит:

– Свидетельница Пустошкина! Ваши занятия, если не ошибаюсь...

– Проститутка!.. – быстро, почти весело отвечает свидетельница, молоденькая девушка, также в шляпке и модном платье.

Ей тоже нравится в суде, и раза два она уже переглянулась с защитником; тот подумал: «Хорошенькая была бы горничная, много бы на чай получала...»

– Вы согласны принять присягу?

– Согласна.

– Ну вот видите, Караулова! Ваша подруга согласна принять присягу. А вы, свидетельница Кравченко, вы тоже... вы согласны?

– Согласна! – густым контральто, почти басом, отвечает толстая, с двумя подбородками, Кравченко.

– Ну вот, видите, и еще!.. Все согласны. Ну так как же? Караулова молчит.

– Не согласны?

– Нет.

Пустошкина дружески улыбается ей. Караулова отвечает легкой улыбкой и снова становится серьезна. Суд совещается, и председатель, сделав любезное, несколько религиозное лицо, обращается к священнику, который наготове, в ожидании присяги, стоит у аналоя и молча слушает.

– Батюшка! Ввиду упрямства свидетельницы не возьмете ли на себя труд убедить ее, что она христианка? Свидетельница, подойдите ближе!

Караулова, не снимая рук с живота, делает два шага вперед. Священнику неловко: покраснев, он шепчет что-то председателю.

– Нет уж, батюшка, нельзя ли тут?.. А то я боюсь, как бы и те не заартачились.

Поправив наперсный крест и покраснев еще больше, священник очень тихо говорит:

– Сударыня, ваши чувства делают вам честь, но едва ли

христианские чувства...

– Я и говорю: какая я христианка?

Священник беспомощно взглядывает на председателя; тот говорит:

– Свидетельница, вы слушайте батюшку: он вам объяснит.

– Все мы, сударыня, грешны перед господом, кто мыслью, кто словом, а кто и делом, и ему, многомилостивому, принадлежит суд над совестью нашей. Смиренно, с кротостью, подобно богоизбраннику Иову, должны мы принимать все испытания, какие возлагает на нас господь, памятуя, что без воли его ни один волос не упадет с головы нашей. Как бы ни велик был ваш грех, сударыня, самоосуждение, самовольное отлучение себя от церкви составляет грех еще более тяжкий, как покусительство на применение воли божией. Быть может, грех ваш послан вам во испытание, как посылает господь болезни и потерю имущества; вы же в гордыне вашей...

– Ну уж какая, батюшка, гордыня при нашем-то деле!

– ...Предрешаете суд Христов и дерзновенно отрекаетесь от общения со святой православной церковью. Вы знаете символ веры?

– Нет.

– Но вы веруете в господя нашего Иисуса Христа?

– Как же, верую.

– Всякий истинно верующий во Христа тем самым приемлет имя христианина...

– Свидетельница! Вы понимаете: нужно только верить во

Христа... – подтверждает председатель.

– Нет! – решительно отвечает Караулова. – Так что же из того, что я верю, когда я такая? Когда б я была христианка, я не была бы такая... Я и богу-то не молюсь.

– Это правда... – подтвердила свидетельница Пустошкина. – Она никогда не молится. К нам в дом – дом у нас хороший, пятнадцатирублевый – икону привозили, так она на другую половину ушла. Уж мы как ее уговаривали, так нет. Уж такая она, извините! Ей самой, господин судья, от характера своего не легко.

– Господь наш Иисус Христос, – продолжал священник, взглянув на председателя, – простил блудницу, когда она покалялась...

– Так она покалялась; а я разве каялась?

– Но наступит час душевного просветления, и вы покаетесь.

– Нет. Разве когда старая буду и помирать начну, тогда покаюсь – да уж это какое покаяние? Грешила-грешила, а потом взяла да в одну минуту и покалялась. Нет уж, дело конченное.

– Какое уже тогда покаяние! – басом подтвердила внимательно слушавшая Кравченко. – Пела-пела песни, да пиво пила, да мужчин принимала, а там – хватъ, и покалялась. Кому такое покаяние нужно? Нет уж, дело конченное.

Она подвинулась и жирными, короткими пальцами сняла с плеча Карауловой ниточку; та не пошевелинулась.

«Хорошо они, должно быть, поют вместе дуэтом, – подумал защитник, – у этой грудь, как кузнечные мехи, с тоскою поют. Где этот дом, что-то я не помню».

Председатель развел руками и, снова сделав любезное и религиозное лицо, отпустил священника:

– Извините, батюшка!.. Такое упрямство! Извините, что побеспокоили.

Священник поклонился и стал на свое место, у аналая, и руки, поправлявшие наперсный крест, слегка дрожали. В публике шептались, и ремесленник, у которого бородка за это время как будто еще более поредела, тянул шею всюду, где шепчутся, и счастливо улыбался.

– Вот так загвоздила! – шептал он, встретив чей-нибудь взгляд.

Подсудимый, недовольный задержкой, брезгливо смотрел на Караулову, поспешно крутил усики и что-то соображал. Суд совещался.

– Ну что же делать? Ведь это же идиотка! – гневно говорил председатель. – Ее люди в царство небесное тащат, а она...

– По моему мнению, – сказал член суда, – нужно было освидетельствовать ее умственные способности. В средние века суд приговаривал к сожжению женщин, которые, в сущности, были истеричками, а не ведьмами.

– Ну, вы опять за свое! Тогда нужно раньше освидетельствовать прокурора: вы посмотрите, что он выделяет!

Товарищ прокурора, молодой человек в высоком ворот-

ничке и с усиками, вообще странно похожий на обвиняемого, уже давно старался привлечь на себя внимание суда. Он ерзал на стуле, привставал, почти ложился грудью наюпитр, качал головою, улыбался и всем телом подавался вперед, к председателю, когда тот случайно взглядывал на него. Очевидно было, что он что-то знает и нетерпеливо хочет сказать.

– Вам что угодно, господин прокурор? Только, пожалуйста, покороче!

– Позвольте мне...

И, не ожидая ответа, товарищ прокурора выпрямился и стремительно спросил Караулову:

– Обвиняемая, – виноват, свидетельница, – как вас зовут?

– Груша.

– Это будет... это будет Аграфена, Агриппина. Имя христианское. Следовательно, вас крестили. И когда крестили, назвали Аграфеной. Следовательно...

– Нет. Когда крестили, так назвали Пелагеей.

– Но вы же сейчас при свидетелях сказали, что вас зовут Грушей?

– Ну да, Грушей. А крестили Пелагеей.

– Но вы же...

Председатель перебил:

– Господин прокурор! Она и в списке значится Пелагеей.

Вы поглядите!

– Тогда я ничего не имею...

Он стремительно раздвинул фалды сюртука и сел, бросив строгий взгляд на обвиняемого и защитника.

Караулова ждала. Получалось что – то нелепое. В публике говор становился громче, и судебный пристав уже несколько раз строго оглядывался на залу и поднимал палец. Не то падал престиж суда, не то просто становилось весело.

– Тише там! – крикнул председатель. – Господин пристав! Если кто будет разговаривать, то удалите его из залы.

Поднялся присяжный заседатель, высокий костлявый старик, в долгополом сюртуке, по виду старообрядец, и обратился к председателю:

– Можно мне ее спросить?.. Караулова, вы давно занимаетесь блудом?

– Восемь лет.

– А до того чем занимались?

– В горничных служила.

– А кто обольстил? Сынок или хозяин?

– Хозяин.

– А много дал?

– Деньгами десять рублей, да серебряную брошку, да отрез кашемиру на платье. У них свой магазин в рядах.

– Стоило из-за этого идти!

– Молода была, глупа. Сама знаю, что мало.

– Дети были?

– Один был.

– Куда девала?

– В воспитательном помер.

– А больна была?

– Была.

Старик сухо отвернулся и сел и, уже сидя, сказал:

– И впрямь, какая ты христианка! За десять рублей душу дьяволу продала, тело опоганила.

– Бывают старички и больше дают! – вступилась за подружку Пустошкина. – Намедни у нас тоже старичок один был, степенный, вроде как вы...

В публике засмеялись.

– Свидетельница, молчите, вас не спрашивают! – строго остановил председатель. – Вы кончили? А вам что угодно, господин присяжный заседатель? Тоже спросить?

– Да уж позвольте и мне слово вставить, когда на то дело пошло... – тонким, почти детским голоском сказал необыкновенно большой и толстый купец, весь состоящий из шаров и полушарий: круглый живот, женская округлая грудь, надутые, как у купидона, щеки и стянутые к центру кружочком розовые губы. – Вот что, Караулова, или как тебя там, ты с богом считайся как хочешь, а на земле свои обязанности исполняй. Вот ты нынче присягу отказываешься принимать: «не христианка я», а завтра воровать по этой же причине пойдешь либо кого из гостей сонным зельем опоишь – вас на это станет. Согрешила, ну и кайся, на то церкви поставлены, а от веры не отступайся, потому что ежели ваш брат да еще от веры отступится, тогда хуть на свете не живи.

– Что ж, может, и красть буду... Сказано, что не христианка.

Купец качнул головой, сел и, подавшись туловищем к соседу, громко сказал:

– Вот попадетсЯ такая баба, так все руки об нее обломаеть, а с места не сдвинешь...

– Они и толстые которые, господин судья, не все честные бывают... – вступилась Пустошкина. – Намедни к нам один толстый пришел, вроде их, напил, набезобразил, нагулял, а потом в заднюю дверку хотел уйти – спасибо, застрял. «Я, – говорит, – воском и свечами торгую и не желаю, чтобы святые деньги на такое поганое дело ишли», а сам-то пьян-распьянехонек. А по – моему...

– Молчите, свидетельница!

– Просто они жулик, больше ничего. Вот тебе и толстые!

– Молчите, свидетельница, а то я прикажу вас вывести.

Вам что еще угодно, господин прокурор?

– Позвольте мне... Свидетельница Караулова, я понял, что это у вас кличка Груша, а зовут вас все-таки Пелагеей. Следовательно, вас крестили; а если вас крестили по установленному обряду, то вы христианка, как это и значится, наверное, в вашем метрическом свидетельстве. Таинство крещения, как известно, составляет сущность христианского учения...

Прокурор, овладевая темой, становился все строже.

– Сейчас заговорит о паспорте... – шепнул председатель и

перебил прокурора: – Свидетельница, вы понимаете: раз вас крестили, вы, значит, христианка. Вы согласны?

– Нет.

– Ну вот видите, прокурор, она не согласна.

Становилось досадно. Пустяки, бабье вздорное упрямство тормозило все дело, и вместо плавного, отчетливого, стройного постукивания судебного аппарата получалась нелепая бестолковщина. И к обычному тайному мужскому презрению к женщине примешивалось чувство обиды: как она ни скромничает, а выходит, как будто она лучше всех, лучше судей, лучше присяжных заседателей и публики. Электричество горит, и все так хорошо, а она упрямится. И никто уже не смеется, а ремесленник с выщипанной бородкой внезапно впал в тоску и говорит: «Вот я тебя гвозданул бы разок, так сразу бы поняла!» Сосед, не глядя, отвечает: «А тебе бы, братец, все кулаком; ты ей докажи!» – «Молчите, господин, вы этого не понимаете, а кулак тоже от господа дан». – «А бороду где выщипали?» – «Где бы ни выщипали, а выщипали»... Судебный пристав шипит, разговоры смолкают, и все с любопытством смотрят на совещающихся судей.

– Послушайте, Лев Аркадьич, ведь это бог знает что такое! – возмущается член суда. – Это не суд, а сумасшедший дом какой-то. Что мы судим ее, что ли, или она нас судит? Благодарю покорно за такое удовольствие!

– Да вы-то что? Что ж я нарочно, по-вашему? – покраснел председатель. – Вы глядите на эту, на толстую, на Кравчен-

ко, – ведь она глазами ее ест. Ведь они тут новую ересь объявят, а я отписывайся! Благодарю вас покорнейше! И не могу же я отказывать, раз уж позволили... Вам угодно что-нибудь сказать, господин присяжный заседатель? Только, пожалуйста, покороче – мы и так потеряли уже полчаса.

Молодой человек необыкновенно интеллигентного, даже одухотворенного вида; волосы у него были большие, пушистые, как у поэта или молодого попа; кисть руки тонкая, сухая, и говорил он с легким усилением, точно его словам трудно было преодолеть сопротивление воздуха. Во время переговоров с Карауловой он страдальчески морщился, и теперь в тихом голосе его слышится страдание.

– Это очень печально, то, что вы говорите, свидетельница, и я глубоко сочувствую вам; но поймите же, что нельзя так умалять сущность христианства, сводя его к понятию греха и добродетели, хождению в церковь и обрядам. Сущность христианства в мистической близости с богом...

– Виноват... – перебил председатель. – Караулова, вы понимаете, что значит мистический?

– Нет.

– Господин присяжный заседатель! Она не понимает слова «мистический». Выразитесь, пожалуйста, проще: вы видите, на какой она, к сожалению, низкой ступени развития.

– Лик Христов – вот основание и точка. Небо раскрылось после обрезания, и нет ни греха, ни добродетели, ни богатства. Прерывистый, задыхающийся шепот – вот эмбрион

всех сфинксов...

– Господин присяжный заседатель! Я тоже ничего не понимаю. Нельзя ли проще?

– Проще я не могу... – грустно сказал заседатель. – Мистическое требует особого языка... Одним словом – нужна близость к богу.

– Караулова, вы понимаете? Нужна только близость к богу – и больше ничего.

– Нет. Какая уж тут близость при таком деле! Я и лампадки в комнате не держу. Другие держат, а я не держу.

– Намедни, – басом сказала Кравченко, – гость пива мне в лампадку вылил. Я ему говорю: «Сукин ты сын, а еще лысый». А он говорит: «Молчи, говорит, мурзик, – свет Христов и во тьме сияет». Так и сказал.

– Свидетельница Кравченко! Прошу без анекдотов! Вам еще что нужно, свидетель?

Свидетель, частный пристав в парадном мундире, щелкает шпорами.

– Ваше превосходительство! Разрешите мне уединиться со свидетельницей.

– Это зачем еще?

– Относительно присяги, ваше превосходительство. Я в ихнем участке, где ихний дом... Я живо, ваше превосходительство... Она присягу сейчас примет.

– Нет, – сказала Караулова, немного побледнев и не глядя на пристава.

Тот повернул голову, грудь с орденами оставляя суду:

– Нет, примете!

– Нет.

– Посмотрим...

– Посмотрите...

– Довольно, довольно!.. – сердито крикнул председатель. – А вы, господин пристав, идите на свое место: мы пока в ваших услугах не нуждаемся.

Щелкнув шпорами, пристав с достоинством отходит. В публике угрюмый шепот и разговоры. Ремесленник, расположение которого снова перешло на сторону Карауловой, говорит: «Ну, теперь держись, баба! Зубки-то начистят – как самовар заблестят». – «Ну это вы слишком!» – «Слишком? Молчите, господин: вы этого дела не понимаете, а я вот как понимаю!» – «Бороду-то где выщипали?» – «Где ни выщипали, а выщипали; а вы вот скажите, есть тут буфет для третьего класса? Надо чирикнуть за упокой души рабы божьей Палагеи».

– Тише там! – крикнул председатель. – Господин судебный пристав! Примите меры!

Судебный пристав на цыпочках идет в места для публики, но при его приближении все смолкают, и так же на цыпочках он возвращается обратно. Репортер с жадностью исписывает узенькие листки, но на лице его отчаяние: он предвидит, что цензура ни в каком случае не пропустит написанного.

– Как хотите, а нужно кончить! – говорит член суда. – По-

лучается скандал.

– Пожалуй что... Ну что еще вам нужно, господин защитник? Все уже выяснено. Садитесь!

Изящно выгнув шею и талию, обтянутую черным фраком, защитник говорит:

– Но раз было предоставлено слово господину товарищу прокурора...

– Так и вам нужно? – с безнадежной иронией покачал головой председатель. – Ну хорошо, говорите, если так уж хочется, только, пожалуйста, покороче!

Защитник поворачивается к присяжным заседателям:

– Остроумные упражнения господина товарища прокурора и частного пристава в богословии... – начинает он медленно.

– Господин защитник! – строго перебивает председатель. – Прошу без личностей!

Защитник поворачивается к суду и кланяется:

– Слушаю-с.

Затем снова поворачивается к присяжным, окидывает их светлым и открытым взором и внезапно глубоко задумывается, опустив голову. Обе руки его подняты на высоту груди, глаза крепко закрыты, брови сморщены, и весь он имеет вид не то смертельно влюбленного, не то собирающегося чихнуть. И присяжные и публика смотрят на него с большим интересом, ожидая, что из этого может выйти, и только судьи, привыкшие к его ораторским приемам, остаются

равнодушны. Из состояния задумчивости защитник выходит очень медленно, по частям: сперва упали бессильно руки, потом слегка приоткрылись глаза, потом медленно приподнялась голова, и только тогда, словно против его воли, из уст выпали проникновенные слова:

– Господа судьи и господа присяжные заседатели!

И дальше он говорит совсем необыкновенно: то шепчет, но так, что все слышат, то громко кричит, то снова задумывается и остолбенело, как в каталепсии, смотрит на кого-нибудь из присяжных заседателей, пока тот не замигает и не отведет глаз.

– Господа судьи и господа присяжные заседатели! Вы слышали только сейчас многозначительный диалог между свидетельницей Карауловой и господином частным приставом, и значение его для вас не представляет загадки. Приняв во внимание те обширные средства воздействия, какими располагает наша администрация, и с другой стороны – ее неуклонное стремление к возвращению заблудшихся в лоно православия...

– Господин защитник, что же это такое! – возмущается председатель. – Я не могу позволить, чтобы вы осуждали здесь установленные законом власти. Я лишу вас слова.

Товарищ прокурора говорит скромно, но стремительно:

– Я просил бы занести слова господина защитника в протокол.

– Слушаю-с. Я хотел только сказать, господа присяжные

заседатели, что госпожа Караулова, насколько я ее понимаю, не отступится от своих взглядов даже в том, невозможном, впрочем, у нас случае, если бы ей угрожали костром или инквизиционными пытками. В лице госпожи Карауловой мы видим, господа присяжные заседатели, перевернутый, так сказать, тип христианской мученицы, которая во имя Христа как бы отрекается от Христа, говоря «нет», в сущности говорит «да»!

Какой-то большой и красивый образ смутно и пристально блеснул в голове адвоката; пальцы его похолодели, и взволнованным голосом, в котором ораторского искусства было только наполовину, он продолжает:

– Она христианка. Она христианка, и я докажу вам это, господа присяжные заседатели! Показания свидетельниц госпож Пустошкиной и Кравченко и признания самой Карауловой нарисовали нам полную картину того, каким путем пришла она к этому мучительному положению. Неопытная, наивная девушка, быть может, только что оторванная от деревни, от ее невинных радостей, она попадает в руки грязного сластолюбца и, к ужасу своему, убеждается, что она беременна. Родив где-нибудь в сарае, она...

– Нельзя ли покороче, господин защитник! Нам известно с самого начала, что госпожа Караулова занимается проституцией. Господа присяжные заседатели не дети и сами прекрасно знают, как это делается. Вернитесь к христианству. И потом, она не крестьянка, а мещанка города Воронежа.

– Слушаю-с, господин председатель, хотя я думаю, что и у мещан есть свои невинные радости. Так вот-с. В душе своей госпожа Караулова носит идеал человека, каким он должен быть по Христу, действительность же – с ее благообразными старичками, наливающими пиво в лампадку, с ее пьяным угаром, оскорблениями, быть может, побоями – разрушает и оскверняет этот чистый образ. И в этой трагической коллизии разрывается на части душа госпожи Карауловой. Господа присяжные заседатели! Вы видели ее здесь спокойною, чуть ли не улыбающейся, но знаете ли вы, сколько горьких слез пролили эти глаза в ночной тишине, сколько острых игл жгучего раскаяния и скорби вонзилось в это исстрадавшееся сердце! Разве ей не хочется, как другим порядочным женщинам, пойти в церковь, к исповеди, к причастию – в белом, прекрасном платье причастницы, а не в этой позорной форме греха и преступления? Быть может, в ночных грезах своих она уже не раз на коленях ползала к этим каменным ступеням, лобызала их жарким лобзанием, чувствуя себя недостойной войти в святилище... И это не христианка! Кто же тогда достоин имени христианина? Разве в этих слезах не заключается тот высокий акт покаяния, который блудницу превратил в Магдалину, эту святую, столь высоко чтимую...

– Нет! – перебила Караулова. – Неправда это! И не плакала я вовсе и не каялась. Какое же это покаяние, когда то же самое делаешь? Вот вы посмотрите...

Она открыла сумочку, вынула носовой платок и за ним

портмоне. Положив на ладонь два серебряных рубля и мелочь, она протянула ее к защитнику и потом к суду. Одна монетка соскользнула с руки, покружилась по бетонному, натертому полу и легла возле пюпитра защитника. Но никто не нагнулся ее поднять.

– За что вот я эти деньги получила? За это за самое. А платье вот это, а шляпка, а серьги – все за это за самое. Раздень меня до самого голого тела, так ничего моего не найдешь. Да и тело-то не мое – на три года вперед продано, а то, может, и на всю жизнь – жизнь-то наша короткая. А в животе у меня что? Портвейн, да пиво, да шоколад, гость вчера угощал, – выходит, что и живот не мой. Нет у меня ни стыда, ни совести: прикажете голой раздеться – разденусь; прикажете на крест наплевать – наплюю.

Кравченко заплакала. Слезы у нее не точились, а бежали быстрыми, нарастающими капельками и, как на поднос, падали на неестественно выдвинутую грудь. Она их вытирала, но не у глаз, а вокруг рта и на подбородке, где было щекотно.

– А то вот третьего дня меня с одним гостем венчали, так, для шутки, конечно: вместо венцов над головой ночные вазы держали, вместо свечек пивные бутылки донышками кверху, за попа другой гость был, надел мою юбку наизнанку, так и ходил. А она, – Караулова показала на плачущую Кравченко, – за мать мне была, плакала, разливалась, как будто все-ррез. Она поплакать-то любит. А я смеялась – ведь и правда очень смешно было. И к церкви я равнодушна, и даже мимо

стараюсь не ходить, не люблю. Вот тоже говорили тут: «Молиться», – а у меня и слов таких нет, чтобы молиться. Всякие слова знаю, даже такие, каких, глядишь, и вы не знаете, несмотря на то что мужчины; а настоящих не знаю. Да о чем и молиться-то? Того света я не боюсь, – хуже не будет; а на этом свете молитвою много не сделаешь. Молилась я, чтобы не рожать, – родила. Молилась, чтобы ребенок при мне жил, – а пришлось в воспитательный отдать. Молилась, чтобы хоть там пожил, – он взял да и помер. Мало ли о чем молилась, когда поглупее была, да спасибо добрым людям – отучили. Студент отучил. Вот тоже, как вы, начала говорить и о моем детстве, и о прочем, и до того меня довел, что заплакала я и взмолилась: господи, да унеси ты меня отсюда! А студент говорит: «Вот теперь ты человеком стала, и могу я теперь с тобою любовное занятие иметь». Отучил. Конечно, я на него не сержусь: каждому приятнее с честною целоваться, чем с такой, как я или вот она, но только мне-то от молитвы да от слез прибыли никакой. Нет уж, какая я христианка, господи судьи, зачем пустое говорить? Есть я Груша-цыганка, такую меня и берите.

Караулова вздохнула слегка, качнула головой, блеснув золотыми обручами серег, и просто добавила:

– Двугривенный я тут уронила, поднять можно?

Все молчали и глядели, пока Караулова, перегнувшись, поднимала монету со скользкого пола.

– Ну а вы-то, – с горечью обратился председатель к Пу-

стошкиной и Кравченко, – вы-то согласны принять присягу?

– Мы-то согласны... – ответила Кравченко, плача. – А она нет!

– Господин председатель! – поднялся прокурор, строгий и величественный. – Ввиду того, что многие случаи, сообщенные здесь свидетельницей Карауловой, вполне подходят под понятие кощунства, я как представитель прокурорского надзора желал бы знать, не помнит ли она имен?..

– Ну, какое там кощунство! – ответила Караулова. – Просто пьяны были. Да и не помню я – разве всех упомнишь?

Судьи долго и бесплодно совещаются, подзывают даже к себе прокурора и убедительно, в два голоса, шепчут ему. Наконец постановляют: «Допросить свидетельницу Караулову, ввиду ее нехристианских убеждений, без присяги».

Остальные свидетели тесной кучкой двинулись к аналою, где ждет их облачившийся священник с крестом.

Пристав громко говорит:

– Прошу встать!

Все встают и оборачиваются к аналою. Теперь Карауловой видны одни только спины и затылки: плешивые, волосатые, круглые, плоские, остроконечные.

Священник говорит:

– Поднимите руки!

Все подняли руки.

– Повторяйте за мною, – говорит он одним голосом и другим продолжает: – Обещаюсь и клянусь...

Толпа разрозненно гудит, выделяя густое, еще полное слез, контральто Кравченко.

– Обещаю и клянусь...

– Перед всемогущим богом и святым его Евангелием...

– Перед всемогущим богом... и святым... его Евангелием...

Все наладилось и идет как следует: стройно, легко, приятно. Во все время присяги и целования креста Караулова стоит неподвижно и смотрит в одну точку: в спину председателя.

Свидетелей удалили, кроме Карауловой.

– Свидетельница! Суд освободил вас от присяги, но помните, что вы должны показывать одну только правду, по чистой совести. Обещаете?

– Нет... Какая у меня совесть? Я ж говорила, что нет у меня никакой совести.

– Ну что же нам с вами делать? – разводит руками председатель. – Ну, правду-то понимаете, правду говорить будете?

– Скажу что знаю.

Через полчаса, в образцовом порядке и тишине, совершается суд. Правильно чередуются вопросы и ответы; прокурор что-то записывает; репортер с деловым и бесстрастным лицом рисует на бумажке какие-то замысловатые орнаменты. Обвиняемый дает продолжительные и очень подробные объяснения. Руки он заложил за спину, слегка покачивается взад и вперед и часто взглядывает на потолок.

– ... Что же касается квитанции из городского ломбарда на заложенный велосипед, то происхождение ее таково. 13-го марта прошлого года я зашел в велосипедный магазин Мархлевского...

– ... Что же касается якобы моих кутежей в означенном доме терпимости и того, будто я разменивал там сторублевую бумажку, то был я там всего четыре раза: 21-го декабря, 7-го января, 25-го того же января и 1-го февраля, и три раза деньги платил за меня мой товарищ, Протасов. Относительно же четвертого раза, когда я платил лично, я прошу разрешения представить суду потребованный мною тогда же счет, из коего видно, что общая сумма издержек, включая сюда...

Горит электричество. За окнами тьма. Весело, тепло, уютно.

1905 г.